

## ОЗЕРО БАСКУНЧАК

Здесь нет ни дороги, ни даже тропы,  
лишь разводья зеленой рапы.

Не поднимешь глаз, не избегнешь судьбы  
и зеленой ее ворожбы.

Это — лед, иссеченный морщинами трещин,  
словно лица казахских женщин,

это — синее небо, как белая соль,  
в мириадах вангоговских солнц,

это — выжженный берег и контур горы  
из иной и далекой поры,

и холодное солнце садится у ног,  
как большой прирученный щенок,

и горячее солнце сжигает висок  
и рапу превращает в песок.

И мне кажется, все вдруг застыло на месте  
на листе исцарапанной жести,

словно чья-то внезапная месть  
не позволила сдвинуться с мест.

1962

\* \* \*

Мы одни в этом желтом лесу,  
нас никто ни о чем не спросит,  
посмотри: на скрещеньи просек  
летний день котенком уснул,

посмотри на березы мигрень,  
наклони ее ветви книзу,  
на ее голубой коре  
кто-то буквы неясные вырезал.

Ну так пей же березовый сок  
из невнятной сумятицы слов,  
смысл их темен и строй высок  
и начало былъем поросло,

запрокинь же голову гордо,  
запрокинь и покорно пей,  
словно горечь полынных степей,  
словно запахом мяты и меда.

Мы зайдем в лабиринт и не выйдем,  
будем шататься без дел  
между деревьев, которых никто не видел,  
а тот, кто видел, попросту проглядел.

Будем по лесу колесить,  
никого ни о чем не просить.  
Натыкаться порой на кусты  
буду я, и смеяться — ты.

К сожалению, очень редко  
попадаются нам орехи.

У деревьев — черные ветки,  
у меня были старые предки.

В их глазах, раскосых и злых,  
не светилося сомнение и жалость,  
но ведь было же что-то в них,  
что во мне, как на дне, отстоялось.

Но ведь были ужас и жуть,  
я о них ничего не скажу.  
Я не знаю, быть может о них  
можно что-то узнать из книг.

Я со страхом давно обручен,  
и теперь мне все нипочем.  
На траве ночная роса,  
у тебя большие глаза.

Впрочем, где мы? Где я и где ты?  
Мы в лесу. Этот лес без качеств.  
Этот лес порожденье молвы  
и моих отраженья чудачеств.

Но быть может, он все же лес,  
где крадется с опаской лис,  
где желтеет опавший лист,  
потерявший гибкость и блеск.

1962

\* \* \*

Вот оратор, ответственен и толст,  
произносит застольный тост.

Все с тоской глядят на оратора,  
ждут, когда же кричать «ура» пора.

И пока открывает он рот,  
происходит идейный рост.

А когда закрывает рот,  
происходит наоборот.

И открытие рта, и закрытие  
производит он по наитию

И, пока не закончит тост,  
ни за что не покинет пост.

1962

\* \* \*

Это Новгород? Или Владимир?  
Отчего этот город вымер?

Это улица чья немая?  
Это город заброшенный майя?

Для чего эти белые плиты?  
Кто из них построит палаты?

Здесь живут короли и пираты?  
Здесь живут спекулянты валютой?

Или *здесь* воедино слиты  
разобщенные *там* минуты?

Окна здесь, как черные полосы,  
но еще черней твои волосы.

Они жестче щетки сапожной,  
на которую очень похожи,

и с домами темными вяжутся.  
Так мне кажется. Да, так мне кажется.

А в домах, словно заняли воры их,  
слышны шепоты, слышны шорохи.

Хорошо, мы такие смелые.  
Вдруг фигуры появятся белые?

Я слышал и читал, что ночами  
ходят тени, гремя ключами,

ходят тени, гремя цепями,  
не известными нам путями

и костями гремят за двоих,  
до припадков пугая живых.

Их, должно быть, при жизни обидели,  
раз они нас так возненавидели.

Впрочем, ты ведь не веришь в призраков,  
для тебя это глупости признаки.

Ну, а раз ты в них верить не хочешь,  
ни один не покажется. Вот.

Только вслед тебе захохочет  
этих призраков хоровод.

Не пойдут они дальше за нами.  
Здесь и город совсем иной.

С электрическими фонарями,  
Все окрасившими хной.

Очень странен мне свет их скудный  
на твоих египетских скулах.

О египтянка, ты ведь тоже  
на покинутый город похожа,

и сквозь заросли злободневности  
вижу я очертания древности.

Оглянись на вымерший город,  
чем-то стал он мне очень дорог.

И другие здесь ходят мальчики,  
только это им все до лампочки.

Потому город грустен, или  
он не хочет, чтоб мы уходили?

Оглянись еще раз — и пойдём.  
Видишь, небо грозит дождем.

1962

\* \* \*

Мой город зябнет. Он продрог.  
Внезапно раздаётся вздрог.

Он расширяется, и вдруг  
за вздрогом двигается звук,

Он тянется за ним, как шельф,  
как черенковский шлейф.

И кажется, что город  
им надвое расколот,

что линия разлома  
прошла сквозь все дома,

похожая сама  
на очертанья дома:

от тротуара до окна  
стена белым-бела,

от подворотни до угла  
она черным-черна,

поверх нее ложатся мгла  
и слой домашнего тепла.

Висят в квартирах зеркала,  
блестят на церкви купола.

Незыблемость уклада  
здесь ворошить не надо.

Но через толщу вечных  
в их вещности вещей

звук поступает резче  
и жестче, чем Кашей.

Блестят на церкви купола,  
гудят, гудят колокола

и возвещают гордо:  
«Христос воскрес из мертвых».

1962

## ДЕТСКИЕ СТИХИ

Не надо обижать медведей,  
они обидчивы, как дети.

О если б мог я зареветь,  
Я заревел бы как медведь.

О поиски словесной формы  
И тяготенье к языку,  
как смысловому потолку,  
о чувство меры, знание нормы.

Все наши мысли -- только корм  
разнообразных схем и норм.

Есть у медведей свой язык,  
косноязычию пингвинов,  
едва лопочущих азы,  
поставлен будет он в вину.



Вы им объявите войну,  
медведей, точно танки, двинув.

Глядит из-под медвежьих век  
эвентуальный человек.

Он поднимает бурый хвост,  
и этот хвост не входит в ГОСТ,  
но простирается до звезд,  
и их Медведице Большой  
он зачерпнет ее ковшом.

Мой старый друг, какого черта  
ты на медведей смотришь гордо?

Ведь твой язык — язык науки,  
где в упоении выиграл  
мне ненавистный интеграл,  
где мерзостные закорюки  
и даже эpsilon и sigma  
Христа напоминают стигмы.

Не разводи узоры формул,  
не говори: их вывел Бор, мол.

Их вывел Бор? Какой там Бор?!  
Мой старый друг, все это вздор:  
встань на колени и молись,  
в медвежью морду глядя ввысь.

Но есть еще другие люди,  
они нисколько не медведи.

Они не смотрят в небеса —  
они разводят словеса.

Я этим людям не чета:  
меж нами резкая черта.

Я за чертой, и я неведом.  
А ну вас всех, уйду к медведям.  
Пускай они меня съедят,  
а вы идите все в болото,  
медведям будет слаще меда  
то, что для вас — лишь горький яд!  
И пусть пингвины и пингвинки  
справляют русские поминки.

1962

\* \* \*

Приближается вечер.  
В камышах катается ветер.

Он сюда долгим лугом бежал,  
но теперь он хочет домой,  
в темный лес с его кутерьмой:  
на воде зеленая ржа,  
тины синие кружева  
и зеленые тени,  
у болотных растений  
вид актиний,  
копошащихся в тине.

Приближается вечер,  
и тени косые осок  
по болотной гати бегут  
от него, как от стражи тати.  
Он догонит, догонит.  
О погони агония,

о агония знаков и строк,  
о агония слов, как агония губ,  
о болотные гати.

Ветер пьяным гулякой  
уснул под корягой.  
Приближается вечер,  
идет с гати на гать.  
Что он напророчит?  
Не станет он лгать.  
Вот он, черный, как сажа,  
на болотное кружево ляжет.  
О агония дня и гонения ночи.

Ветер валяется в камышах,  
ночь отдается в ушах.

1962—63

\* \* \*

Приходят женщины без тел,  
как женщины без цели,  
их так дороже ценят  
в обычной сутолоке дел.  
Вот краски на холсте,  
они событий вести,  
случившихся тому назад лет двести.

Кто папуасов и горилл  
поверить в них уговорил?

Вот краски на холсте,  
вот просто холст без красок,  
вот краски без холста.  
Ложатся женщины в постель,  
без них постель пуста,  
как маскарад без масок.

Приходят женщины без тел  
и, ежась, прячутся в постель.

Кто это сделал? Кто сумел  
освободить людей от тел?  
Кто от изгиба губ и рук  
извлек излом мелодий,  
застывших, как коллодий,  
и каждому раздал застывший звук?

Звук застывал, как замерзал,  
и леденил молчащий зал,  
с шел сквозь строй органных труб,  
как через чашу лесоруб,  
и, сверху падая в провал,  
как сгусток красок, застывал.

Вот краски на холсте,  
вот знаки на бересте  
случившихся тому назад лет двести  
событий, происшествий,  
оказий или дел.

Кто из извлек из тьмы веков  
для наших дур и дураков?  
Кто разодрал их на куски,  
чтоб сделать на людей похожими,  
и раздарил прохожим,  
как дарят женщинам чулки?

Кто это сделал? Кто так смел,  
что это сделать все сумел?

1962

\* \* \*

Ты не веришь в созвездия,  
словно в желтых цветов соцветия,  
и рассказов моих не хочешь ты слушать.  
Что ж ты хочешь услышать?  
В доме нет ни души.  
Под столом недовольные мыши.  
Все глуше и глуше,  
все тише и тише  
дождь проходит по крыше.  
Ты огонь потуши.

Говорят, что по звездам можно судьбу предсказать  
и прочесть по линиям рук.  
Эти линии слишком ясны,  
так в начале весны  
свет звезд удивительно светел.  
У нас одинаковые глаза,  
я это заметил вдруг,  
я это заметил.

Ты сказала, я буду очень богат  
и уеду в Того.  
Буду жить на лазоревом берегу  
и забуду о русских снегах.  
Ты сказала: «Поверь, я не лгу,  
денег будет так много».

Ради Бога,  
и все же поверить тебе не могу.

Ты сказала,  
Что в Лондоне часто бывает туман,  
что Мюнхен – немецкий Париж,  
а Вена – прекрасный город,  
что взял у вокзала  
носильщик твой чемодан  
и был этим очень горд.  
О, что ты говоришь.

Скажи, тебе нравится город мой,  
где родился отец мой и дед,

где улицы так извилисты,  
где домов кирпичи, покрытые известью,  
помнят о многом  
и молчат о какой-то страшной беде?  
Или ты хочешь уехать домой  
по пустым и мокрым дорогам?

Впрочем,  
я вовсе хотел спросить тебя не о нем,  
не о городе черном моем.  
Дело близится к ночи.  
Посмотри, умирает свет,  
вот оно, похоронное шествие улиц.  
Так умирает в столице поэт,  
родившийся где-то в глуши.  
Мы с тобою вдвоем.  
Недовольные мыши уснули.  
Ты огонь потуши.

1962

## ШЕСТВИЕ ВРЕМЕН ГОДА

Не проходит к Респиги респект,  
ветер листья проспектом проносит,  
и уже, разлагаясь, как спектр,  
приближается осень,  
обещая успех  
желтизне желтых листьев,  
желтое яичных желтков,  
желтизне желваков  
напряженных до боли,  
желтизне алкоголя  
и желтых жуков,  
желтизне желудей,  
желудей желтизна  
означает, что скоро весна.

Еще только сентябрь  
расположился, как табор;  
невозможно дождаться дождей,  
и сквозь стекло оконных прозрачность  
не меняется улицы призрачность,  
надоевшая даже ей.  
Но к Респиги респект еще долгов –  
это серьги берез,  
это полосы зебр,  
это тернии птиц,  
неиствующих, как Тирпиц  
при гибели подводных лодок.

Но октябрь еще добр  
и лес порыжелый дрябл.  
О октябрь,  
безразличный к гниению листьев.  
Вы не знаете разве,

что в лесу торжествуют миазмы  
и березы напрасно стараются выстоять –  
торжествуют миазмы,  
угроза миазм  
означает, что скоро зима.

Но Респиги еще знаменит  
/пусть сюита на части расколота/,  
и его нам никто не заменит  
/на части расколота и т. д. и т. п./,

но сдвигаются контуры города,  
переулков фантазмагория  
напоминает фантазии больных детей,  
очертанья меняют дома,  
город ночью суров,  
как иезекиилево: «Горе вам» –  
но заснеженность черных дворов  
и безлюдье ночных площадей  
означают, что это зима.

1963

\* \* \*

Изменилось заметно время.  
Что узнали о нем мы, кроме  
кем-то собранных вместе  
разноречивых известий?

Хороши для нас уже тем они,  
что из них узнаем о времени.

Но известий ссыпется известь,  
обнажив его зависть и низость,



и внезапно увидит с изнанки  
до сих пор неизвестные знаки.

Это времени знаки. О знаки,  
на сердцах, на стенах, на бумаге.

Мы трясемся в вагонах метро,  
мы троимся в огромных трюмо

и не знаем, что, может быть, завтра  
мы увидим внезапные знаки.

Обмелеет в низовьях река,  
обмелеет незнамо как.

Очевидно, судьбы предкрекла,  
чтоб мелела в низовьях река.

Будут реки, как руки в локтях,  
изгибаться изгибами стариц.  
Будут старые старцы и старицы  
по деревням ходить в лаптях.

Горожанин, я им не ровня,  
но я тоже бывал в деревнях.

Я там пил молоко тощих коз  
и рассказы хозяек о том,  
что коров забрали в колхоз.

Я там пил молоко, а потом  
погружался в стенаний поток.

Стенограммы стенаний, из них  
кто-то мог бы составить дневник,

